



Г. П. ФЕДОТОВ

Февраль и октябрь

Февраль и октябрь — нельзя сказать, чтобы очень приятные месяцы русского года — надолго останутся для России политическими символами. Октябрь будет скоро праздновать двадцатую годовщину своей победы. Февраль уже отметил для себя, в молчании и скорби, двадцатилетие своих несбывшихся надежд. Но, странное дело, побежденный февраль не хочет умирать. И, чем дальше идет время, чем более исчерпывает себя и духовно опустошает октябрь-победитель, тем настойчивее встает вопрос о его преемнике. И февраль, как легитимный претендент, как «король в изгнании», представляет свои права.

В каком смысле можно противопоставлять февраль и октябрь? Конечно, не в социологическом анализе русской революции. Исторически они оба входят в этот грандиозный процесс как его моменты. Для историка всегда останется февраль-зачинатель и октябрь-завершитель. Завершитель того распада государственной власти, который не в феврале, конечно, начался, но в нем дал свой первый взрыв: свалилась корона. Те же силы, которые вызвали взрыв февраля, произвели и октябрь. Самая глубокая и самая простая правда о 1917 годе состоит в том, что народные массы не пожелали продолжать непонятную и ненавистную войну. Лозунг «долой войну» все время был самым популярным, самым массовым, хотя и долго заглушался другими, на него наброшенными благородными словами. Февральский переворот был произведен петроградским гарнизоном; октябрьский — самовольно демобилизованной армией. Осенью, как и весной, массы дали увлечь себя вождям, с которыми, в сущности, они не имели ничего общего и которые пытались использовать энергию стихийного обвала для своей политической работы. Люди октября в этом успели потому, что в своем безграничном имморализме открыли все шлюзы низким страстям. Февралисты говорили о жертвах,

о долге, о родине и свободе, октябристы — о прекращении войны, о грабежах, о классовой мести. Психологически борьба была неравная. Лишь позднее октябрь предъявил свой счет издержек: десятки миллионов трупов и десятки лет нищеты.

Смотря на вещи объективно, двадцать лет спустя, видишь, что другого исхода не было; что при стихийности и страшной силе обвала русской государственности февраль мог бы совладать с разрушением при одном условии: если бы он во всем поступал, как октябрь. Временное правительство — всякое правительство 1917 года — могло бы удержаться, если бы заключило «похабный» мир и отдало высшие классы, от офицерства до интеллигенции, в жертву народной ярости. Вероятно, еще сейчас есть немало черных душ — пореволюционных и контрреволюционных большевиков, — которые не могут простить февралю того, что он не пошел по этому пути. Но чем бы он тогда отличался от октября? Экономической программой? Неужели стоило идти на поражение и разгром России, на истребление интеллигенции и торжество Держиморды во имя спасения капитализма?

К чести России и ее интеллигенции, в ее среде не нашлось Растопчиных, бросающих Верецагина на растерзание толпы. Впрочем, такие Растопчины-Крыленки имелись в изобилии, но русская интеллигенция извергла их из своей среды.

На вопрос, в чем основное различие между февралем и октябрём, следует искать ответа не в анализе политических событий и творящих их классов, а в сознании возглавлявших их групп. Есть немало охотников стирать эти различия и видеть в большевиках прямых и достойных завершителей дела русской интеллигенции. Что они выросли из одного с ней ствола — от Радищева или, скажем, от Герцена — это бесспорно. Но уже рано, с 60-х годов, две линии русской революции разошлись достаточно далеко. Нечаев был отвергнут поколением 70-х годов. Ленин был одинок в породившей его социал-демократической среде. Он ненавидел интеллигенцию более страстной ненавистью, чем капитализм или самодержавие. Он должен был искать себе поддержки в людях полукультурных, даже полуграмотных: в Зиновьевых и Сталиных. Между ним и революционной интеллигенцией проведена черта — не его максимализмом (максимализмом нельзя было испугать русскую интеллигенцию), а его абсолютным имморализмом.

Печатью этого имморализма отмечен весь октябрь и его дело — вплоть до последних трансформаций Сталина. Это нечаевский корень, который принес свой достойный плод в русском варианте фашизма. (Кстати, и весь мировой фашизм поднялся на ленинских дрожжах.) Февраль не только не породил октября в этом

смысле, но в противостоянии ему нашел себя. Если и были в нем, в разных течениях русской интеллигенции, некоторые соблазны имморализма, то они перегорели в очистительном огне испытаний. Остатки разбитой армии духовно не разоружились. Они лишь глубже осознали свое призвание и свою духовную генеалогию. За ними стоит великий XIX век в основной линии русской свободлюбивой и человеколюбивой мысли. А еще глубже — забытые, но еще живые заветы русского деятельного христианства, прошедшие сквозь разум западного, тоже христианского гуманизма. Так обнаруживается, что символ февраля, очищенный от всех случайных исторических наслоений, — есть символ гуманизма, символ деятельного, социального христианства. И прежде всего символ Свободы.

Все остальное в феврале — все детали его демократических программ, вся его полуякобинская, полумарксистская фразеология, неуверенная тактика — будут забыты и получат историческую амнистию. Но как забыть, что на рубеже новой исторической эпохи, на рубеже нового «тоталитарного» деспотизма, нависшего над миром, февраль в последний раз развернул знамя свободы? Настанет время — мы не знаем, близко ли оно, когда растоптанный, униженный человек (ведь он, в конце концов, не термит, а бессмертный дух!) взбунтуется и потребует своих прав: уже не на пищу, не на спорт, не на зрелища, а на мысль, на свободу, на нравственную ответственность. Это первое пробуждение человека и будет воскресением февраля — в России. Вероятно, немало времени пройдет, пока духовные принципы свободы найдут свое выражение и в общественной жизни. Для этого и февралю придется повозиться, как Николаю-угоднику над завязшей в грязи телегой русского мужика¹. Придется сделать выводы политического реализма из горького опыта поражений. Новый февраль будет тверже, суровее. Никто не может упрекнуть его в толстовском непротивленчестве. Но, обнажая меч власти для обуздания зла, он не забудет, что этот меч поднят в конечном счете *для защиты человека и стоящей над ним правды*. В этом различие между духом февраля и духом всех октябрей, абсолютизирующих чисто социальные ценности. Для кого нет ничего выше рабочего класса или Великой России, те не остановятся ни перед чем ради своего идола. Насилие не только не отвратительно для них, но даже является настоящим источником злой радости. Ведь в основе всякого социального коллектива — класса или государства — живет пафос силы, а сила любит ощущать себя в насилии. Вот почему мы видим сейчас, как дух ленинского имморализма оживает в стане реакции. Точно старый большевизм, издыхающий

в России Сталина, нашел для себя новую телесную оболочку. Так умирающий Святогор вливает, вместе с могильным дыханием, чудовищную силу свою Илье. В стане контрреволюции происходит настоящий процесс обольшевичения. Мало сказать: все средства хороши. Люди убеждены, что низость или жестокость средств является прямой гарантией успеха. Чем гнуснее, тем надежнее. «Мы не слюнтая. Для нас перевешать 2–3–5 миллионов — плевое дело». Так растут у пня поваленного Белого движения ядовитые грибы новой всероссийской чеки.

От чекистов настоящих и чекистов будущих, от торжествующего и раздавленного насилия да спасут нас, в эти дни траурной памяти о побежденном феврале 1917 года, стоящие за ним в тени подвижников и героев, из века в век проливающих свою кровь за освобождение человека.

Октябрьская легенда

В истории нередко случалось, что великие преступления делались символами величия. Сколько политических режимов и даже национальных традиций покоятся на изначальных злодеяниях. Непрерывность английской государственной традиции восходит к норманнскому завоеванию — почти пиратскому предприятию, в его первоначальном смысле. Французская республика избрала своим символом взятие Бастилии — один из бессмысленных и кровавых эпизодов революции, который в действительности не имел никакого освободительного значения. Память народов коротка, а история творится по ту сторону добра и зла. Такая судьба — освободительного символа — казалось, была уготована октябрю. Для миллионов рабочих во всем мире и для значительных слоев левой интеллигенции русский октябрь — начало новой эры: «освобождения трудящихся, царства социализма».

Преступление, лежащее в основе октября, миром забыто. Большинство о нем никогда не слышало. В наш век — век мифов и легенд — на Западе уже укрепилась легенда об октябре, как восстании против царизма. Что же говорить о России, где государство, обладающее монополией лжи, в течение 30 лет культивирует октябрьскую легенду?

Да, октябрь имел шансы стать краеугольной легендой новой России — нашим национальным 14 июля. Для этого нужно было лишь одно условие: стабилизация революции. Нужно было не только потерять живую память о 1917 годе, нужно было забыть о всей